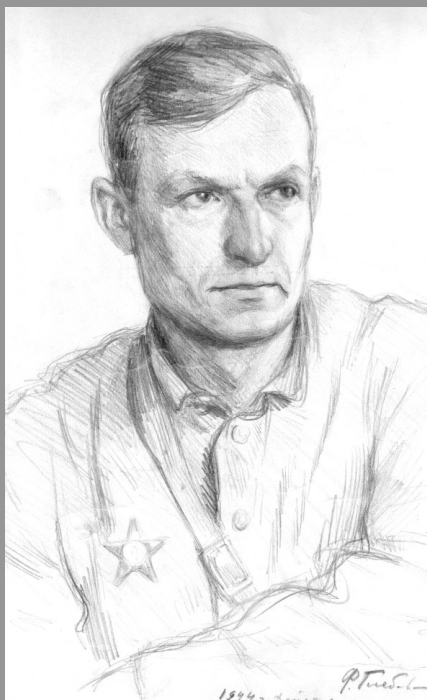


Тихон Журавлёв

Шумел камыш

рассказ

122



Карандашный портрет
Тихона Журавлёва в исполнении
художника-однополчанина
Фёдора Глебова

М. А. Шолохову

Я уговаривал себя не волноваться. Хватит. На войне мы наволновались вдоволь. Непроста я вздрагиваю по ночам и хочу куда-то бежать во сне, должно быть в атаку, но кто-то крепко держит меня сзади не то за пояс, не то за ноги. А сердце вдруг ни с того ни с сего так застучит и распрыгается, что хоть рукой его придерживай. От нечего делать, перед сном, я часто прислушивался к нему, своему сердцу, и вот оно кажется мне то маленьким юрким воробышком, когда ворохнётся у меня под мышкой и даже начнёт осторожно долбить ребро своим острым клювом, то упругой и скользкой рыбой, когда неловко повернётся в моей груди и захлещет холодным хвостом по рёбрам... Нет, надо успокоиться и побереечь своё здоровье. На войне, там некогда было к нему прислушиваться...

Да, я думал об этом всю дорогу. Лежал на самой верхней полке вагона, дымил в потолок махоркой и думал. Зачем это часто ругаются и спорят мои соратники? Дорога от Берлина до Москвы не такая длинная, как от Москвы до Берлина. Туда мы пешком добирались, и не один год — несколько лет, по грязи и по снегу, а теперь оттуда возвращаемся курьерским поездом. И главное, домой! Весёлая дорога. Но сколько вспыхивало в этой дороге невесёлых разговоров! То чемодан чей-то не так поставили на полке, и кто-то стукнулся головой об острый угол его, то зря окно в купе открыли — одному сквозняк совсем не нравился, другому, наоборот, было душно и требовал он свежего воздуха. Внизу,

на полу, где было слишком тесно, и все поэтому спали, поджав ноги и положив голову на соседа, и там не обошлось без ругани. Кто-то во сне протянул онемевшую ногу, и тут же на него заворачивали, зашикали со всех сторон: убери, мол, свою оглоблю, а то растянусь, как барин. Спорили по всяким пустякам, и это обижало. Зачем же нервничать? Все доедем! Не сегодня-завтра все домой вернёмся.

Я рассуждал этак всю дорогу и, кажется, уговорил-таки себя не волноваться. Что бы там ни случилось – надо быть спокойным! В Москве, на Казанском вокзале, я всю ночь простоял у кассы в длинной очереди. До отхода поезда на мою родину оставалось полчаса, но очередь продвигалась медленно. Я стоял недалеко, девятым от окошка и нисколько не отчаивался. Но что было с моими товарищами! Один, бедолага, то поставит свой чемодан, то подымет его, то присядет на острый угол, то вскочит – места себе не находит, а другой, так тот и вовсе ушёл из очереди, махнув рукой, а ну вас к чёрту с вашими билетами, этак можно и сердца лишиться. Я был спокоен и только, признаюсь, сердце ёкнуло, когда окошко захлопнулось перед моим носом. Но я не стал в него стучать кулаком и доказывать кассирше, как тот старшина, до того напиравший сзади, что, казалось, хочет протолкнуть меня в окошко с головой и с ногами. «Стоит ли шуметь? – уговаривал я старшину. – Пассажиров много, и каждому хочется уехать поскорей. Поезд-то не резиновый. Не уехали сегодня – уедем завтра. Какая разница? Сядем на чемодан и дождёмся другого поезда...» Но старшина, не дослушав меня, убежал к дежурному.

Я радовался, что могу себя удерживать. На второй день, уже в пути, когда в Мичуринске осталось до моей родины рукой подать, а кондуктор объявил нам, что вагон задержится на сутки – сгорела буква, мои товарищи заохали и зарычали, но я не поддержал их. Сгорела так сгорела, и мы тут вовсе ни при чём. Но пассажиры не соглашались и, поми-

ная эту буксу чёрными словами, спешно вытаскивали свои чемоданы и бежали вдоль состава проситься в другие до отказа набитые вагоны. Что ж, не оставаться же мне одному в пустом вагоне! Я тоже вытащил свой мешок на перрон, чтобы не отстать не столько теперь от поезда, сколько от своих попутчиков, и подошёл к соседнему вагону. Подошёл не потому, что надо было сесть именно в этот вагон, а больше из любопытства – отчего, мол, только здесь не толпятся фронтовики и не пристают к этой красивой, с очень суровыми бровями, проводнице на верхней ступеньке. Девушка же ещё строже сдвинула брови и крикнула мне, что вагон её мягкий, и крикнула так, словно это значило: куда тебя чёрт несёт! А я ведь и не собирался лезть в её вагон, и поэтому спокойно улынулся.

– Ты что? – удивилась проводница.

– Ничего, – пожал я плечами и отошёл подальше от её ступенек.

Девушка, должно быть, обиделась. Как же, она готовилась к отпору так, что была похожа на заряженный пистолет. А я не лез к ней и даже не упрасивал.

– Какого ж ты дьявола крутишься! – прорвало её, будто курок спустила, но, не получив сдачи, помялась на ступеньках и зло добавила: – Иди, что ли!

Я не понял, куда мне идти.

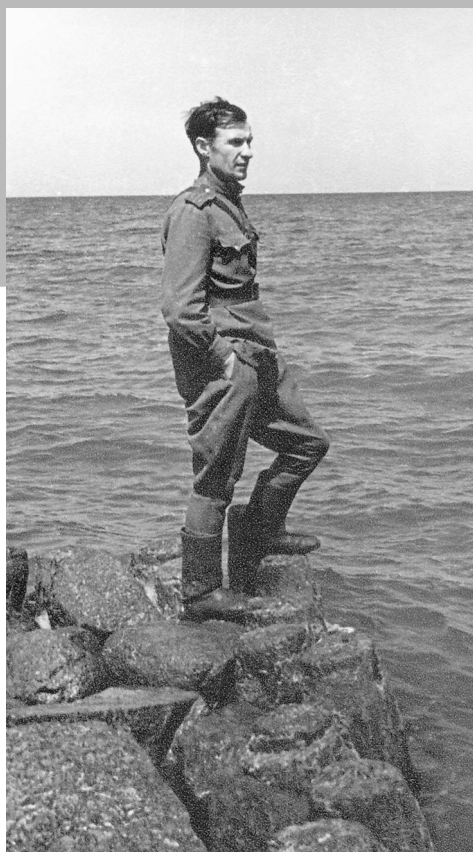
– Садись в мой тамбур! – крикнула проводница. – Как-нибудь и стоя доедешь.

Оглянувшись по сторонам, как бы кто не увидел, я забросил вещевой мешок, и сам залез.

– До Лисок потерпишь, а там пересажу в другой вагон, – утешила проводница.

– Спасибо.

Я не волновался. И даже сам себе стал нравиться. Ведь столько было испытаний от Берлина до Москвы, затем от Москвы до Мичуринска, и я всё это выдержал. А? Но выдержки моей, к сожалению, хватило только до Лисок. Это недалеко за Мичуринском. Тут, собственно, и началось то, что волновало и мучило меня три дня подряд.



Балтика, 1945

В Лисках я пересел на харьковский поезд: мне осталось две остановки до родины. Через час, не больше, я буду в своём доме, у своей матери. И близость этой встречи тревожила... Но почему же так долго не трогается поезд? Что же он, подумал я о машинисте, заснул, что ли? Пора бы ехать. Я раскрыл окно и лёг руками на верхнюю раму, чтобы лучше видеть из вагона родные места, покинутые мной четыре года назад. Но к моему окну подошла какая-то женщина, будто нарочно, чтобы помешать мне. Я раздвинул свои локти, чуточку потеснив её в сторону: ступай, мол, к другому окну.

– Простите, – сказала женщина.

Я покраснел. Откуда её принесло так не вовремя!

Вагон в это время дёрнуло, и женщина, не удержавшись, прислонилась к моему плечу, но я довольно вежливо отстранил её локтем: если уж подошла сюда мешать мне, то хоть на своих ногах держись как следует.

Мимо проплывают последние здания вокзала, и вот уже за их крышами сверкает широкий Дон. Здравствуй, батюшка!

– До чего же красивая река, – говорит соседка.

Я посмотрел на неё так, чтобы она догадалась отойти, но, встретив её восторженный, сверкающий взгляд, растерялся.

Мимо в окне замелькали косые пролёты моста: под нами Дон! А ведь надо же бросить ему подарок!.. Я кинулся в купе и, разворошив свои вещи в мешке, нашёл полинявшую пилотку. Да, пусть это будет пилотка! Я бросил её в окно и вспомнил, что мой отец, возвращаясь в ту войну домой, тоже кинул в Дон свою казачью шапку.

– Зачем Вы это сделали? – спросила женщина.

Ей и отвечать не стоило бы, но глаза у неё такие светлые. И, главное, чистые, как озеро, на дне которого видны зелёные водоросли. Я показал ей из окна тот берег Дона, где стоял деревянный сарай, он уже прогнил и покосился.

– Там родила меня мать, молодая казачка.

– Давно?

– Тридцать лет назад.

Я рассказал ей, что мать моя стирала бельё на берегу и, напуганная надвигавшейся грозой, не успела донести меня домой. Там и появился я на свет – в этом сарае, на переточенной мышами соломе. Рядом, на берегу, тогда стоял цыганский табор, и на помощь к матери прибежала старая цыганка. Она завернула меня в грязный фартук и положила на вейлку. Но в сарай неожиданно ворвался ветер. Он распахнул двери настежь, и цыганка подхватила меня

с вейлки своими костлявыми руками. «Бурная жизнь будет у твоего казачка», — сказала она матери...

Зря я, конечно, рассказываю о своём рождении этой случайной спутнице.

— Цыганка угадала, — вздохнула женщина. — Жизнь у нас бурная. Много было горя всякого.

Я посмотрел на неё с удивлением: почему ж это у «нас»? И чтобы она больше не ровняла горя своего с моим, рассказал ей, как убили немцы моего отца и разбомбили мою жену — вон там, у той гребли за Доном.

А вот о погибшей жене я сказал ей совсем напрасно. Тогда бы наш разговор закончился, а тут вдруг женщина разговорилась не в меру, будто её прорвало, и с таким увлечением, что даже пригласила меня в свой город Канев. Там, говорит, такой же, как Дон, а то и чуточку пошире, красивый Днепр, и дом её стоит на самом берегу Днепра, но в доме этом нет хозяина, потому что погиб он ещё под Сталинградом.

— Но разве могу я променять свой Дон на Днепр?

Мы едем вдоль берега, и я вижу из окна свою деревню — там, за вербами, на том пригорке, и даже свой дом, четвертый с краю. И тянется к нему знакомая с детства тропинка-стёжка, вот она петляет по склону от самой реки до нашего крыльца под крышей, а там, на том крыльце, уже кто-то стоит и смотрит из-под руки на поезд. Конечно, мать! Я спешу к выходу из вагона, сбрасываю мешок на землю, и сам прыгаю за ним с подножки, не дожидаясь, когда остановится поезд.

— Не терпится? — кричит вдогонку спутница. — Дай бог своих увидеть.

Она кивнула мне из окна, и я вдруг пожалел, что не взял её адрес: кто знает, как оно обернётся в жизни, может быть, она сама надумала бы променять свой Днепр на Дон...

Я тороплюсь к парому, а навстречу мне бежит какая-то девушка — да кто ж это? — и радостно улыбается издали. Боже мой, Наташка! Вот она с разбегу повисает на моей шее и громко плачет.



У штаба

А я держу одной рукой мешок, другой обнимаю её за спину. Куда ж девалась моя выдержка? Я так уговаривал себя не волноваться, тем более не плакать, а рука моя уже дрожит на спине у моей сестры.

Наташка берёт у меня мешок и, вытирая слёзы, несёт его к парому. Нет, вы посмотрите на неё, как она выросла! Я узнал её только по глазам и по улыбке, они остались такими же детскими, а вся она вытянулась и повзрослела, как та вон берёзка у нашего дома. Эту берёзку я посадил перед войной, и была она тогда маленькой, а сейчас поднялась выше дома.

По стёжке вниз тревожно спускается к берегу мать, и вся она словно сияет под солнцем. Искрятся серебристые во-



В отпуск



На родине

рассказ

лосы на непокрытой голове: о, мать уже поседела. Сверкают слёзы на впалых щеках, и белеет ослепительная улыбка: у матери зубы сохранились, они такие же белые, как до войны.

— Ладно, ладно, — говорю я, — не плачь.

И, спрыгнув с парома, прижимаю её седую голову к своей груди.

Я чувствую горячие слёзы на моей гимнастёрке и повторяю одно и тоже: «не плачь», будто сам себя упрасиваю. Мать ответила вдруг таким щемящим причитанием, что у меня перехватило дыхание. Я пытаюсь что-то говорить ей, а голоса не слышу.

Мимо проходят люди. Они кивают мне головой, но я не сразу отвечаю, потому что не узнаю их знакомые лица. Удивительно, что старики так осунулись и похудели, а молодые, наоборот, выросли, как трава после обильных дождей. Забавно было видеть знакомое лицо ребёнка на почти взрослом человеке. Будто вынули его за уши и поставили на ходули. Это было странное чувство, оно тоже не давало мне покоя, и я, отвечая на приветствия, радостно

улыбался, не зная, что сказать моим знакомым.

Вечером пришёл ко мне дядя Гриша. Он такой же, не изменился. Только без левой ноги, оторвало её миной, когда наши войска выбивали мадьяр из деревни. Ему бы, старому человеку, надо спрятаться в погреб, как сделали это все невоюющие, но он, верный своей привычке видеть всё своими глазами, вышел за ворота и попал под мину.

— Свои оторвали, — сокрушается дядя Гриша.

Однако деревянная колодка вместо ноги не мешает ему работать в своём колхозе.

Я удивлялся раньше тому, как этот человек упорно и долго не соглашался с колхозными порядками. Послушаешь его, бывало, и скажешь — нет, он совсем не любит свой колхоз. На самом же деле был он у нас лучшим работником. Слишком долго, с большой натугой дядя Гриша вживался в новое. Вот и сейчас он тоже говорит что-то недоброе о нашем колхозе и председателе, которым всегда был недоволен. Только я пока его не слышу. Я слежу за его тяжёлыми губами, за тонкими лучиками лукаво прищуренных глаз и радуюсь, что вижу родное, знакомое лицо. Но дядя Гриша протягивает мозолистую руку и, растопырив пальцы, кладёт её передо мной на стол.

— Пальцы, они тоже неровные, — говорит он, будто воркует. — И председателю их не выровнять...

Чудак этот дядя Гриша. Он ещё не знает, что сейчас уже не найдёт у меня сочувствия. Нет, я пока не спорю с ним, но после докажу, что мы вот на фронте тоже были разными, как эти пальцы, но собранные в один кулак, били немцев одинаково неплохо.

— Будет вам спорить, — сказала мать и поставила перед нами на стол вареники.

Да, самые настоящие, поджаренные в масле пузатые вареники. Сколько раз я вспоминал о них на фронте, в окопах! И думал, придётся ли ещё когда-нибудь отведать их в собственном доме. При-



В отпуске

шлось! Улыбаюсь материнским вареникам, а сам тревожусь. И как же не тревожиться, когда моя выдержка совсем нарушена. Всю дорогу уговаривал себя я не волноваться после войны, а тут вдруг, на родине, волнует меня каждый пустяк. Даже вареники в густой сметане...

Хорошо проснуться рано утром на своей кровати, вдыхая знакомый с детства запах свежей простыни. Где-то в очень далёком городе за горой стонет гудок. И мне кажется, что я никогда не уходил из этого дома, и никакого фронта не было, а всё это приснилось. В щели оконных ставень пробивается утренний свет, за окнами слышатся знакомые бабьи голоса — бригада, видимо, собирается в поле — и мне тоже хочется пойти на улицу, в эту бригаду, потому что руки мои соскучились по мирной работе.

Дверь осторожно приоткрылась, и в комнату на цыпочках вошла Наташка. Бесшумно поставила на табурет у мое-

го изголовья большую кружку парного молока и так же тихо вышла, шурша просторным платьем. У самого окна, тревожно захлопав крыльями, пропел петух. Нет, я больше не буду спать. Этот безмерно далёкий, как воспоминание о детстве, гудок и эти призывные бабьи голоса, и кружка с молоком, и даже петух – всё радует меня до щемящей боли в сердце. Чтобы хоть немножко успокоиться, сажусь на кровать и скручиваю длинную сигарку.

Мать, наверное, услышала шелест бумаги.

– Не спишь? – заглянула она в комнату.

– Нет, уже проснулся. Петух разбудил.

– А тут к тебе Мирониха.

– Мирониха? – встал я с кровати, пересел на табурет, и сердце моё заколотилось.

Что же я скажу ей? Она сейчас, конечно же, расплчется и спросит, как погиб её сын, Иван Миронов. Мы служили с ним в одном полку. Но я не могу рассказать его матери правду, потому что сын её погиб не так, как погибали другие. Мы сами убили Миронова.

Я выхожу на кухню, к столу, и, не глядя в глаза Миронихе, подаю ей руку. Ну да, я так и знал! Она схватила руку и припала к ней головой, поглаживая мой локоть. Очень тяжело, когда плачет женщина и обливает слезами твои пальцы. Я хочу ей улыбнуться, но мои губы дрожат, как в лихорадке. Тогда я гляжу на мать, чтобы найти у неё поддержку – нельзя же солдату плакать! – но она тоже отвернулась от меня, закрыв лицо платком.

– Ничего, – сказал я шёпотом, удивляясь, что мне удалось-таки выдать это слово, тогда как другие застряли в горле.

Не зная, что же делать, я в отчаянии провёл рукой по седым волосам Миронихи. Она тяжело подняла свою голову и посмотрела на меня снизу такими жалкими и в то же время такими строгими глазами, будто я должен был сейчас же вернуть ей сына. Этот глу-

бокий материнский взгляд подкашивал ноги.

– Успокойтесь, – попросил я Мирониху и тотчас, пошатываясь, вышел из комнаты на крыльцо, чтобы самому немного успокоиться.

Какой у меня потёртый, засаленный кисет, но зато какой в нём замечательный табак. Сколько раз он выручал меня в самые тяжёлые минуты на войне. Да и тут, в глубоком тылу, вот я затянулся дымом, и мне будто легче стало: тяжесть в груди растаяла. Я вернулся к Миронихе и сел с ней рядом. Я сказал ей, что сын её погиб от пули. А вдруг она спросит: чья ж это пуля – своя или немецкая? И чтобы не спросила, тороплюсь досказать ей всё – как сын её упал на болотный мох и как я сам похоронил его в камышах, под Сталинградом. Но, может, Мирониха уже догадалась, что сын её погиб не так, как надо. Не зря же она беспокоится, почему ей не прислали обычного извещения, в котором было бы написано, что Иван Миронов «пал смертью храбрых»?

– Не знаю, – сказал я и покраснел, потому что сказал неправду и потому что нас когда-то с её сыном считали врагами. Он женился на моей невесте, с которой дружил я четыре года.

Как же можно мне рассказать старушке всю правду? Она ведь подумает, что я сам расстрелял его по старой злобе и, может быть, рад его смерти. Мирониха, словно догадавшись о моей тревоге, стала сама рассказывать, что сын её в одном письме писал подробно, как он был ранен в ноги, а я выносил его на своих руках из-под обстрела.

Да, это было.

– Вера его до сих пор убивается, – говорит Мирониха о своей невестке, о вдове её сына, и это имя причиняет мне боль. Не потому, что Вера была когда-то моей любовью, нет, а потому, что мне жаль её, и я теперь уже ничем не могу ей помочь.

Не слишком ли рано уговаривал я себя не волноваться, считая войну законченной? Нет, война продолжается. Осколок или пуля, убивая солдата на

фронте, больно ранит его родных в тылу, и раны эти заживают не скоро. Если только заживут...

За два дня в деревне, кажется, навестили меня все – я тоже побывал у всех. Не пришла только Вера, и я не зашёл к ней. Может, она стесняется и не знает, что старая обида уже забылась. Наташка удивляется, почему же всё-таки не заходит Вера, она-де всегда была у нас до моего приезда и всегда расспрашивала обо мне, читая мои письма.

– Теперь ей делать тут нечего, – ревниво сказала мать, и я впервые узнал, что она тоже была обижена за меня той давнишней размолвкой, что случилась у нас тогда с Верой.

– Да, ей у нас делать нечего, – повторил я, чтобы мать успокоилась.

Но с Верой мы встретились. Пошёл я вечером к своему приятелю – он уже давно вернулся с фронта по ранению и сейчас работает на пасеке. Вера, наверное, видела, что я должен буду пройти мимо её дома, и вышла из ворот навстречу с пустыми ведрами на коромысле. Надо ж ей в ту минуту собраться по воду! Она улыбнулась мне одними глазами из-под низко надвинутой косынки, но я не ответил ей. Мы разошлись на одной дороге и не сказали друг другу ни слова.

Зато мой приятель сказал о ней больше, чем следует. Вера однажды ему призналась, что будто бы всегда любила меня и думала только лишь обо мне, хотя Иван Миронов, уезжая на фронт, предупредил, что в случае чего, и мёртвый он будет ревновать её ко мне, живому. Видно, в чёрный час были сказаны Мироновым эти вещие слова. Они сбылись наполовину. Да, я живой, Миронов – мёртвый. Но ревновать ему не придётся – нет, я не заставлю это делать. Стало быть, непрочным было его украденное счастье, если он боялся друга и никогда не верил нашей дружбе даже на фронте.

Но я к нему относился иначе. Мы воевали с ним часто рядом и поровну делили все невзгоды. Прежнее там, на

войне, забывалось. Миронов был для меня таким же другом, как и все другие соратники. Недаром я до сих пор не могу ответить Миронихе – зачем же мы его убили.

Действительно, зачем?

И чтобы успокоиться, даже оправдать себя, в чём не был виноват, я должен вспомнить всё, как это случилось, что мы в то время думали, что переживали в ту неимоверно тяжёлую пору, перед тем, как расстрелять Миронова.

Нет, я не отвечу Вере на её улыбку. Поздно. Между нами мёртвый Миронов. Да и Вера, признаться, мне теперь не по душе. Я больше думаю о той случайной спутнице с такими ясными глазами, которые и до сих пор сияют в моей памяти. Жаль только, не взял её адреса, но радуюсь тому, что на свете существует город Канев.

Утром снова разбудили меня бабьи голоса, мужичий говор и цокот брички за окнами. Бригада собирается на сенокос. Теперь-то я не отстану от косарей. Мать, правда, уговаривает меня отдохнуть ещё недельку, но разве можно усидеть в комнате без дела, когда руки сами просятся к работе.

Я выхожу во двор и смотрю на всё хозяйским глазом. Этот сарай надо уже подпереть с угла новыми кольями. А то завалится. Эту изгородь пора сменить и отодвинуть в сторону – пусть во дворе после войны будет просторней. А эти вот обвисшие ветви моей берёзы непременно подрезать, чтобы не упирались в крышу и не свисали до самой калитки.

В окно выглядывает мать, счастливая и заплаканная: плачет, наверное, от радости, что наконец-то в её доме объявился хозяин.

– А это, – сказала она, когда я осматривал недопиленный сруб у колодца, – твой отец было начал...

И не dokonчила. Запнулась и, прикрыв окно, ушла к печке, чтобы там пироги не пригорели. Я знаю, смотрит она сейчас в огонь заплаканными глазами и ничего там не видит. Удивительно, мы

ведь ещё ни разу не говорили с ней об отце. Она не отважилась рассказать мне подробности его страшной смерти и не показала мне ту записку, что написал отец перед смертью и которую никто не мог разобрать, потому что, умирая после пыток, он уже не говорил и не владел рукой. Но я непременно пойму, что в ней написано, и если не прочитаю, то почувствую, о чём просил нас отец перед смертью... Да, мне предстоит выдержать и это испытание. А пока я возвращаюсь на кухню и утешаю мать, что наш двор не так уж трудно привести в порядок и что сруб я, конечно, допилю, но только не сегодня, потому что мне сейчас так хочется пойти с людьми на сенокос.

— Ну что ж, иди, — не возражает мать, вытирая глаза фартуком.

Между берегом и деревьями на лугу растёт высокая сочная трава. Шуршит она под лёгким ветром и в одном краю кланяется в пояс Дону, а в другом — упирается в дремучую стену верб. На скошенной поляне, такой сегодня зелёной и светлой, уже темнеют буграми копны, и длинные тени от них тянутся к берегу. Как же не радоваться этому зелёному простору и солнечному запаху скошенных трав? Я встречаю эти копны, как своих старых друзей, и в груди у меня тоже светлеет.

У самых верб живыми цветами колышутся над ещё не скошенной травой разноцветные рубахи косарей. Иду я покосом Данилы Савича, поздравляю старого с добрым утром, а ещё из уважения к старости на всякий случай сулю ему бога в помощь.

— Спасибо, — отвечает старик. Он разгибает спину, и под высокими вербами, с медным от загара лицом, в распахнутой белой рубашке сам сейчас похож на лесного Бога.

— Скучаешь, Александр Демидович?

Не «Санька» и не «Сашок Демидов», как называли меня раньше, до войны, а по имени и отчеству: Александр Демидович!

— Да, скучаю, Данила Савич. По ра-

боте. На войне мы тоже работали, но там только землю рыли, стреляли, да, как говорят солдаты, за смертью в атаке бегали, а вот косить ни разу не приходилось. Может, я уже отвык от колхозной работы? А ну-ка, дай мне, Данила Савич, пройдусь разок, — беру я у деда косу, и держак её плотно ложится в мою ладонь.

Шипит в полукруг коса, вздыхает высокая трава и, срезанная под корень, покорно ложится веером под ноги. Какая истома в моих плечах! Какой опьяняющий воздух вокруг! И я с каждым взмахом удлиняю покос, жадно вдыхая хмельные запахи.

Ничего отбил свою косу Данила Савич! Режет она, как бритва.

— Нет, — говорит старик. — Отбивал не я. Дядя Гриша. Он сегодня всем направляет косы.

«Чудак этот дядя Гриша», — ухмыляюсь я самому себе. — Зачем же ты вчера мне показывал пальцы? Разве упрекнут тебя, что сам ты не был на сенокосе? Послушай, как хвалит тебя Данила Савич. И как легко шипит отточенная тобой коса. Безногий чёрт!»

— Передохни, Демидыч, — предлагает мне старик. — А то сгоряча набьёшь оскомину. В работу не сразу кидайся, надо постепенно...

Я объясняю старику, что мне сейчас работать нужно позарез. Данила Савич понял меня. Только не до конца. Он думает, что я тоскую по своей жене, по своему отцу, и не знает, что меня волнует не только это. Я рассказал ему, как уговаривал себя не волноваться, но вот приехал домой и тревожусь теперь от каждой мелочи. Меня даже вон та ромашка сейчас волнует, потому что я видел за границей, в лесах под Веной, другие ромашки, покрупней, а наша всё-таки лучше. Она тут у нас и крепче, и стройней, и запахом гуще. Недаром же мы часто, любуясь чужой ромашкой в ладонь величиной, с щемящей грустью тосковали о нашей, маленькой.

— Это земля тебя ставит на ноги, — утешал Данила Савич. И я ему верю.

В детстве, помню, когда после по-

жара заикался от испуга, меня лечили дома испугом. «Выливать переполох» – почему-то называла мать этот способ лечения. В юности, когда я случайно простывал на морозе, отец мне советовал ещё раз как следует промёрзнуть, чтобы простуду вышибать простудой. Возможно, и сейчас вот все тревоги, которые вобрал я за годы войны, выгоняю из нутра через волнение...

Ко мне и Даниле Савичу подходят косари, они усаживаются вокруг на сырые охапки только что скошенной травы подымить махоркой. Все, как сговорились, начинают вспоминать моего родителя, что погиб он правильно – его назначали немцы старостой, а он обозвал их бандитами.

– Честно умер твой батя, Александр Демидович, – вздыхает Данила Савич.

И мне бы надо горевать, но я горжусь, что мой отец погиб, а вот имя его живёт в моём отчестве.

– Да, повоевали, – опять вздыхает старик, потому что ему не терпится послушать мои боевые воспоминания.

Но я не отвечаю на этот вызов. Мне сейчас, признаться, не до этого. И ещё – вспоминать о войне, значит, рассказать о ней всю правду, а правда эта страшная. Нет, лучше сейчас помолчать.

– Нам тоже довелось хлебнуть, – говорит молодой косарь Антон Иванович.

Он не был на фронте, зато работал в тылу, на каком-то заводе, и совсем недавно вернулся в свою деревню. Верю, и ему досталось. Но зачем говорить об этом? Неужели хочет оправдаться? Я вижу его розовые скулы, слушаю и будто чего-то не понимаю. Мы будто говорим на разных языках. Или табачный дым затуманил мне голову?

– Как же всё-таки погиб Миронов? – спрашивает, наконец, Антон Иванович.

– Да, да, расскажи-ка нам про него, – просит меня и другой косарь.

Тень Миронова неотступно следует по пятам и, чую, не отстанет от меня до тех пор, пока не расскажу о нём всю правду. Но прежде чем рассказать об этом другим, захотелось мне сначала поговорить с самим собой, и я проща-

юся на лугу с косарями, сославшись на головную боль.

Наедине мне легче. Один я вижу и чувствую отчётливей. Вот эти густые деревья, кивающие на ветру друг другу ветками, эта вот шуршащая из края в край высокая трава и серебристая рябь реки за камышами – всё это близко мне и так понятно. А вот людей как будто я разучился понимать. Слышу, о чём сейчас мне шепчет вон та высокая ива, похожая на девушку в зелёном платье до самой земли; ветер занёс подол её в сторону и, кажется, хочет она шагнуть ко мне навстречу.

Слышу знакомый с детства лепет листьев тополя и шум берёзы, спустившей свои ветки зелёными водопадами до самых пят. Мне понятен голос родной земли, потому что я говорю с ней сердцем.

Я убеждаюсь тут, что отвага нужна не только на войне. Правду найти и высказать нелегко, и к этому надо готовиться, как мы готовились к бою. Плохо ли воевал Миронов? Нет, не плохо. Иначе бы его не представили к ордену за две недели до смерти. Любил он родину? Да, любил. Дважды раненный в боях не покинул своего батальона, хотя и мог с чистым сердцем. За что же мы тогда его убили? За то, что в трудную минуту не выдержал и оказался слабее своих товарищей. «Почему же нельзя было простить его, чтобы он потом исправился?» – непременно спросят меня косари, я не смогу им ответить сразу. Я знаю, что верный ответ существует, но пока он упорно не даётся мне.

Я присаживаюсь на заросший травой обрывистый берег у Дона. Шорох моих шагов затих и сменился широким и грустным шорохом камыша над рекой. Шум этот заполнял меня мощным потоком. И в этом шуме камыша ясно представляю себе тот незабываемый серый день в таких же камышах под Сталинградом, когда мы убили Миронова.

Там, в излучине Дона под Сталинградом, немцы прижали нас к берегу. Мы сидели, скорчившись, на болоте в

густых камышах и ждали приказа на переправу. Но приказа не было. Наш лейтенант объяснял, что мы выполняем боевую задачу – отвлекать немцев от Сталинграда и не пускать их в камышовые заросли. Но зря он старался, утешая нас выдуманной задачей, мы и без него всё понимали.

Сидели мы в камышах третьи сутки, уже отупевшие ко всем невзгодам солдатской жизни. С высокого берега немцы обстреливали нас и днём и ночью, но пули сбивали только верхние метёлки тростника у нас над головой, а мины и снаряды глубоко уходили в болотную почву и разрывались там, под нами, не причиняя вреда, потому что осколки не выбрасывало наверх. Донимали нас только голод и холод.

Была такая пора, когда с утра до вечера моросил назойливый дождь, а ночью прижимал крепкий морозец. Нам некуда было спрятаться. Окопа на болоте не выроешь, ставить шалаш из камыша – опасно, потому что над плавнями всё время кружили самолёты. Шинели наши намокали за день, впитывали влагу, как губки, а ночью покрывались хрустящим ледяным панцирем.

Я согнулся на ворохе жёсткой осоки, сорванной руками на болотных кочках, и, кажется, в то время ни о чём не думал. День проводил в полудрёме, а ночью дрожал от холода. Больше всего мы боялись заснуть в мороз, иначе не проснёшься. У нас уже заснули так три человека, и мы отволокли потом их, окоченевших, в сторону.

Мне порой было так холодно, что я не чувствовал мороза. Тело моё уже обессилило ночью от постоянной дрожи, а руки и ноги стали деревянными. Своей жизнью продолжало жить тогда, пожалуй, только сердце. Мне казалось, что стоит отвернуть шинель, и я смогу взять его, это сердце, рукой, как, помню, в детстве когда-то взял забившегося от снежной бури в сарай и дрожавшего на перекладине под крышей маленького воробышка.

Иногда мне хотелось отогреть своё замерзавшее сердце табачным дымом.

Но махорка у нас вышла, и курили мы засушенные на костре, затем перетёртые в ладонях листья какой-то болотной травы. Её показал нам командир взвода, и все мы удивились, откуда этот лейтенант, моложе всех нас по возрасту, так много знал. Он говорил нам, что можно курить и даже кушать болотные травы, и говорил об этом с такой уверенностью, будто ставил перед нами боевую задачу.

Я радовался, что пальцы мои, хоть и неуверенно, а всё же пока сами свёртывают самокрутку и высекают огонь кресалом. Приторный, тошноватосладкий дым заполняет пустую грудь и согревает озябшее сердце. Голова кружится, незаметно впадаю в забытие и только вижу, как догорает папироса в моих окоченевших пальцах. «Только бы не заснуть!» – постоянно твержу себе, и всю неудобную ночь верчусь вокруг этой единственной мысли.

Жизнь в нашу роту возвращалась утром. Чем больше света в камышах, тем слабей мороз. Я слышу, кто-то робко в стороне покашливает, кто-то в другой стороне ворочается на сырой осоке, а лейтенант впереди меня уставшим, осипшим голосом зовёт к себе связного. Видимо, хочет послать его в штаб дивизии за продуктами. Вчера ходил туда камышами, за десять километров, Миронов. Он лез в грязь по колено, а вернулся оттуда с пустыми руками. Самолёт сбросил груз неудачно, в Дон, и бойцам дивизии в окружении не досталось даже тех ста граммов сухарей, вернее, сухарных крошек пополам с песком, которыми снабжались ежедневно.

Я обшарил пальцами все углы своих карманов шинели в поисках мельчайших крошек хлеба. Но там уже и табачной пыли не было. А что бы всё-таки пожевать? Вон мой сосед Кравченко уже вытирает сухой травой котелок – стало быть, опять собирается варить в нём те белые корни рогозы, которые называет он рожками и от которых меня и до сих пор тошнит. Рожки те переели мне всю душу; вчера поел их сдуру, и

рвало меня до ночи, когда, казалось, и рвать уже было нечем. Думал, всё ну-тро выброшу наружу.

Но что бы всё-таки поесть? Внутри сосёт нестерпимо. Я перебираю в памяти свои любимые блюда, всё то, что когда-то мать и жена подавали на стол. Эх, какой они борщ готовили! Такого борща больше я нигде не пробовал. А вареники! Боже мой, какие то были вареники! Вот он, самый жирный, попадаете мне под руку – большой, с поджаренной коркой. Вот я тащу его вилкой из жёлтого растопленного масла в миске и тут же окунаю в горшок с белой крутой сметаной. Только в рот его положи, а там он и сам проскочит в горло – жевать не надо... Я глотаю слюну, и желудок отвечает острой болью. Да, воспоминаниями сыт не будешь. Зачем же мучить себя этими варениками? Тут, на болоте, хотя бы варёная картошка подвернулась под руку или чёрствый огрызок хлеба. А сколько таких вот огрызков лежало у нас там, в углу, за печкой. Сейчас бы до них добраться. Да и на печке полежать не мешало бы – кости свои пропарить и просушить холодную, мокрую одежду...

В печальном шуме камыша я слышу далёкий лай собаки, призрачный, как сон, и вспоминаю, что в трёх-четырёх километрах от излучины Дона, где начинаются плавни, раскинулась на косогоре богатая казачья станица. Там, наверное, тепло и сытно, если немцы ещё не разграбили. Всего каких-нибудь полчаса ходьбы туда, совсем недалеко, а дойти нельзя. Между нами и станицей немцы. Они окружили нас тесным полукольцом, как железной подковой, и никуда не пускают. Над камышами с визгом шныряют их самолёты, оглушая нас рёвом своих моторов и треском пулёмётных очередей. А вчера даже сбросили нам целый рой листовок, и мы им обрадовались. Не потому что немцы предлагают нам жизнь и белый хлеб до отвала – на листовке нарисован чёрный круг с красными пятнами в середине: вы, мол, отрезаны, сдавайтесь, – а потому что нам нужна была бумага на курево.

Мы бережно собрали все листовки, рассовали по карманам, и каждый раз, прежде чем свёртывать самокрутку, внимательно прочитывали, что же обещают нам немцы. Они, видите ли, поражены таким бессмысленным упорством, когда совершенно ясно, что все мы должны тут или замёрзнуть или умереть с голоду, и предлагают поэтому, пока не поздно, сложить оружие.

Лейтенант, правда, сказал, что читать листовки нельзя, но его никто не слушал. Мы перечитывали так же внимательно и вторую партию листовок. С этими листовками немцы догадались даже сбросить узел, наполненный шоколадными конфетами – переходите, мол, шоколадом закармливаем. Неплохо придумали! Эти конфеты мы, конечно, тут же разделили, хотя лейтенант и опасался, что могут быть они отравленными. Нет, ничего не случилось. Маленькая порция шоколада на каждого, как говорили потом солдаты, «заморила червячка», того самого, что с такой нудной болью точил наши внутренности.

Моросил мелкий дождик, и в его заунывном шелесте я слышал далёкий шёпот Веры. Она говорит мне впервые, стесняясь, что выходит замуж за Мирослава. Здесь, в окружении, в холоде и голоде, я снова услышал эти страшные слова моей невесты, сказанные восемь лет назад в такой же вот мелкий моросящий дождь и в такую же холодную осень. Мы стояли тогда у её калитки, распахнутой настежь, и не смотрели в глаза друг другу. Я не мог даже взять её за руки, потому что она спрятала их под фартук и была теперь уже не моя, чужая. Губы у меня дрожали не то от горя, не то от холода, и я не мог сказать ей ни слова. О чём же ещё говорить, когда и без того всё ясно. Вере, якобы, не по нутру мои слишком грубые порывы. Так она и сказала. А слово-то какое: порывы! Тьфу! Я вёл себя с ней до этой встречи слишком уверенно: приходил вечером к девушкам и на руках выносил её из хоровода. Она укоряла, что этого делать при людях не следует, но я не слушался. Какое мне дело до людей! А

вот Миронов, тот, оказалось, ухаживал за Верой вежливей. Он приехал к нам из города шофёром, устроился на ферму возить молоко, и Вера призналась, что ей он больше нравится.

— Почему? — спросил я тогда без опаски, не веря, что в наших отношениях уже появилась трещина.

— Потому. Что его все хвалят...

Бывает. И вот — наше последнее свидание. Вера говорит, что выходит замуж, а я не верю. Мне кажется, вот-вот она улыбнётся, положит свою руку на моё плечо и скажет, что пошутила. Но Вера неожиданно сказала совсем другое, и сказала это чужим, незнакомым голосом:

— Пора мне.

Я слышал, как прошуршали её шаги, как захлопнулась калитка. Навсегда. Вера ушла, но разговор с ней не кончился. Она осталась в моём сознании прежней, и я что-то ей доказывал, о чём-то её спрашивал. И Вера будто бы отвечала мне, что этот Миронов — красивый парень, что умеет он обращаться с девушкой по-городскому и в любви своей не зазнаётся, как некоторые деревенские, и что во всём этом ни она, ни он, а сам я виноват...

«Упустил... упустил, — шелестел мелкий дождь, и я с досадой вытирал у себя под глазами его крупные капли. Я шёл тогда в поле, чтобы остаться наедине с горем. Дождь, помню, припустил сильнее, он уже не шелестел, а пищал в сухих будылях кукурузы, будто плакал за меня и спрашивал: «За что же она бросила?»

— Вера! Вера! — говорил я вслух, не опасаясь, что в поле кто-нибудь меня услышит...

«Упустил... Упустил», — шелестел в камышах под Сталинградом такой же дождь, напоминая мне о том, что было восемь лет назад. Но я в этом безвыходном для нас положении отвечаю:

— Нет, не упустил.

— Ты с кем там разговариваешь? — удивился мой сосед, сидевший слева.

— С дождём. Припустил, проклятый.

— А-а... — успокоился он.

И я снова погружаюсь в прошлое. Ровно через месяц Вера переслала мне с подругой записку: что, дескать, она погорячилась и хочет поговорить со мной с глазу на глаз — «на том же месте и в то же время». Но я не пошёл к ней. А через год, узнав, что хочу жениться на девушке из другой деревни, прислала вторую записку...

Но почему вдруг всё это вспомнилось мне в такую тяжёлую пору? Кругом немцы, а я думаю чёрт знает о чём. Неужели даже эта неудачная любовь, о которой вспоминаешь с такой тоской и гордостью, придаёт мне стойкость?

Невдалеке от меня справа сидит на болотной осоке Миронов. Он сгорбился под нахохлившейся плащ-палаткой и растирает ладонями отёкшие за ночь ноги. Как я отношусь к нему? Ведь мы когда-то были хорошими друзьями. Пока не встала между нами эта Вера. Да, он тогда вроде бы меня обидел. Я считал, что в любовь надо врываться соколом, а не вползать ужом. И брать её двумя руками, а не пальчиками. Вера тоже поняла это, но слишком поздно. В то время я больше обижался на Веру, чем на Миронова. Потому вот и на фронте мы стали с ним если и не друзьями, то хорошими приятелями. Но изредка нет-нет и пролегалла между нами какая-то чёрная ниточка, мешавшая мне разглядеть Миронова как следует, особенно сейчас, когда хотелось бы узнать, о чём он думает после немецкого шоколада.

Миронов осторожно вылез из-под намокшей плащ-палатки, накинутой на согнутую лозу, и, прихрамывая на больную ногу, заковылял ко мне. Он показал последнюю листовку. В нашем положении мы тогда не могли оставаться равнодушными к голосу врага. Если немец угрожает нам — дело наше плохо, если уговаривает — значит, продержимся. Но вчера Миронов подавал мне листовку, слегка улыбаясь и пожимая плечами — зачем, дескать, они бумагу портят? Сегодня же улыбки этой не было. В испуганных глазах его я заметил немой вопрос и насторожился. Как же отве-

тить ему? Я взял из его руки листовку и разорвал её пополам. В один бумажный лоскут насыпал тёртого из болотной травы табаку и молча протянул Миронову. Он также молча скрутил папироску и, прихрамывая, ушёл от меня к своему насиженному гнезду.

О чём он думал? Я старался разгадать его мысли, вспоминая, о чём он говорил со мной в последнее время. Часто мы отводили душу в разговоре о своей деревне, обсуждали с ним наши колхозные дела. Даже там, вдалеке от своей деревни, отдалённые от неё и временем и расстоянием, и даже линией фронта, мы заботились, как всегда, о судьбе своего колхоза. Я радовался тому, что колхозная жизнь, прерванная для нас войной, продолжается и на фронте, в наших разговорах и заботах. Позавчера Миронов принёс газету и показал напечатанный в ней рассказ одного партизана из нашего района о том, как немцы опутали колючей проволокой нашу колхозную ферму и морят в ней голодом военнопленных. Возбуждённый и злой, Миронов горевал прежде о нашей ферме, которую мы строили своими руками, затем уже о людях, умиравших голодной смертью там, где откармливались породистые свиньи и содержались михновские овцы с тонкорунной шерстью...

Вставали передо мной два трудных вопроса, как неразлучные спутники. Один голосом немецкой листовки спрашивает: «Откуда наша стойкость?», другой тревожным взглядом Миронова подхватывает: «Выдержим или не выдержим?»

Перебираю в мыслях всех товарищей, начиная с Миронова, с которым только что молча договорились держаться насмерть. Впереди меня, чуть левее лейтенанта, на таком же островке осоки, будто чайка на гнезде, сидит ефрейтор Санник. Ну, этот, конечно, выдержит. Я говорю об этом твёрдо, уверенный в его стойкости, однако не сказал бы этого раньше, когда мы были в значительно лучших условиях. Тогда ефрейтор пугал нас удивитель-

ным равнодушием ко всему, и нам казалось, что человеку этому всё равно, где жить и как жить, лишь бы только быть живым. Но мы ошиблись. Четыре дня тому назад ефрейтор пошёл разыскивать у плавней отставшую походную кухню и забрёл нечаянно к противнику. Немцы обезоружили его и привели в свой штаб.

— Куда идёшь? — спросил офицер по-русски.

— Свою кухню шукаю, — ответил Санник.

Офицер усмехнулся.

— Кушать захотел?

— Да, проголодался.

Офицер кивнул автоматчикам, и те принесли большую сковородку жареного мяса и тонкие ломтики хлеба на тарелке. Никто из нас, разумеется, не стал бы есть немецкий хлеб, но Санник ел. Медленно и с достоинством очистил он всю сковородку.

— Ещё? — спросил офицер.

Санник пожал плечами. Тогда солдаты принесли ему полкотелка пшённой каши с кусочком сливочного масла. И кашу поел ефрейтор. Вытер губы ладонью и виновато посмотрел на следившего за ним офицера: а теперь, мол, куда? Но тот, видимо, его не понял и спросил, не хочет ли он чаю.

— Не откажусь, — ответил Санник.

Появился чай. Угостили ефрейтора конфетами, причём угостили так щедро, что половину их положил он в карман.

— А теперь куда? — спросил офицер.

— Кормим, как видишь, неплохо. К своим пойдёшь или тут останешься?

— К своим, конечно, — сказал ефрейтор и втянул голову в плечи, ожидая удара.

Но его не тронули.

— Желаю счастья, — улыбнулся офицер и показал ему дорогу в камыши...

Мы по-разному отнеслись к этому случаю. Хотя лейтенант и предупреждал, чтобы Санник об этом никому не рассказывал, но разве того удержишь? О том, что немцы накормили его кашей, и он, скажи ты, не подавился ею, — знала вся рота. Одни смеялись над ефрей-

тором, другие возмущались его непомерным аппетитом, но всем было ясно, что немцы не зря затеяли эту игру в гостеприимство и великодушие, да никто не попадётся на эту удочку.

Я перебирал в памяти всех своих товарищей и говорил «выдержим», но, к сожалению, не мог сказать этого о солдате Кравченко. Слишком непонятный он человек. Вечно чем-нибудь не доволен и обо всём говорил с неприятной усмешкой, будто ничему не верил. Пришёл он к нам из госпиталя и хвалился, что вот, мол, вернулся из Наркомздрава и теперь у него лишь одна дорога – в Наркомзем. Спросили его раз, что нового сегодня в сводке, и он ответил с ухмылкой: так, ничего, мол, особенного – взяли два мотоцикла и сдали Орёл. Таких язвительных усмешек было много. Даже когда вернулся от немцев Санник, а мы посмеялись над ним, что противник сделал из него для нас живую листовку, Кравченко совсем иначе отнёсся к этому «великодушию» врага. Как всегда, разыгрывая наивного человека – мы, дескать, люди неграмотные, тёмные, – он спросил: «И что ж таки дается с теми немцами?» Но спросил затем, чтобы тут же рассказать нам другой случай, о котором будто бы он услышал в госпитале, как немцы в разгар ожесточённого боя выбросили белый флаг и, прекратив стрельбу, крикнули в рупор из окопа: «Русские, уберите с поля своих раненых!»

Я вспоминал это и многое другое, что говорил нам Кравченко, потом решил – нет, пожалуй, нельзя на такого надеяться, вряд ли он выдержит...

Наступает четвёртый вечер. Холод ещё ниже прижимает нас к мёрзлой осоке. Подул северный ветер – вначале он робко шуршит над головой в пушистых метёлках, затем всё больше и больше раскачивая камыши, добирается донизу и прожигает нас колючими иглами. Столько растёт вокруг нас камыша – непроглядные заросли, а мы никак не можем спрятаться от ветра. Собрать бы этот камыш в снопы да поставить их полукругом в шалаш, и была бы нам

надёжная защита. Помню, мы с отцом однажды обставили такими снопами ветхий коровий хлев. По двору тогда вихрилась вьюга и хлестала в лицо колючим снегом, а в хлеву, под камышовым навесом было тепло и тихо. Да, я невольно завидовал в этот четвёртый вечер своей корове. Стало быть, нам действительно плохо, когда и коровий хлев уже кажется раем.

Но вот интересно, сохранился ли этот навес? А корова? И где мой отец? Возможно, там уже и колхоза не существует?.. Взялся я от вопроса к вопросу, как по ступенькам, пока не дошёл до самого Кремля. Как там они, живы-здоровы сейчас и что про нас думают? Ведь мы были в таком тяжёлом положении! Пора бы выручить. Иначе нам самим не вырваться... Так, думая о собственном доме, я думал о Родине. Это ещё ничего, что немцы уже заняли мою деревню и этим нанесли мне, солдату, глубокую рану. Рана эта не была смертельной, потому что немцы ещё не заняли моей Родины. Однако я не отважился тогда спрашивать себя – возьмут или не возьмут нашу землю. Мы знали только, что нам отдать её врагу невозможно. И в этом была наша главная сила.

Вставали такие вопросы передо мной, как серо-зелёные фигуры немцев на поле боя, и с каждым надо было вступать в единоборство. Одни вопросы были нетрудным препятствием, они отскакивали от меня легко, но другие, изворачиваясь от моих ударов, изматывали долго, пока я в конце концов не находил для них точных ответов. Мне ясно было, например, что из Кремля нас видно в камышах, там, конечно же, знают, что нашу дивизию немцы растрепали, загнав в болото. «Наш отец не оставит нас в беде», – надеялся молодой лейтенант, но мы постарше его, надеялись больше на себя, на свою выдержку. А мой отец? – неожиданно всплывало в памяти. Что сейчас он делает под немцами? В партизаны уйти не может, у него больные ноги. А немцам служить он тоже не посмеет, не для того воевал

с ними в ту войну. И тем не менее за него я тревожился: очень серьёзными были у меня стычки с моим отцом. Когда я, например, вступал в партию, он меня поддерживал и одобрял, уверяя, что молодые глаза дальше видят. Но как только я спросил его, почему же и он, уважаемый всеми в районе человек, до сих пор не в партии, отец ответил, что нет у него такого проворства и что слишком он ещё привязан к старому. А не выплывет ли это старое наружу? Не станет ли мой отец, чего доброго, старостой в нашей деревне?

Да нет, пожалуй. Он вроде бы не должен так обидеть своих сынов. Да и мать сумеет удержать его, потому что честь семьи была для неё дороже всего на свете. Моя мать, тихая, добрая женщина, дома никогда не вмешивалась в наши споры. Она, собственно, плохо разбиралась в наших разногласиях, но сердцем чувствовала правоту своих сынов. Её робкая защита согревала нас каким-то невидимым сиянием, которое всегда излучалось её мирной солнечной улыбкой. Но если в споре с отцом иногда мы не приходили к общему мнению, и в семье наступал разлад, это сразу же отражалось на матери; она становилась печальной и, не в силах помочь нам, уединялась в углу, что-нибудь шила там и почему-то всегда еле слышно пела для себя одну и ту же печальную песню «Шумел камыш». Она пела её так тихо, что я даже слов не знаю этой странной песни... Помню, что шумел камыш и деревья гнулись, а к чему и зачем — не знаю. Теперь-то я вспоминаю этот родной напев, как молитву, и словно тут, в камышах, слышу далёкий голос моей матери. Да это ведь она поёт! Её грустная песня и до сих пор живёт в моём сознании. Вот я хочу вздремнуть и подумать о чём-то важном, другом, не таком печальном, а песня пристала ко мне, как репей, никуда не пускает, она жужжит и вьётся вокруг меня, как назойливый комар над ухом. Я начинаю прислушиваться к этому напеву — и вдруг будто мороз пробегает у меня по спине. Оказывает-

ся, действительно кто-то её поет, чтобы выкричать своё горе. Песня и в самом деле существует, но существует уже вне моего сознания. Будто на волю вырвалась. Я склоняю ухо по ветру и пытаюсь уловить её — и кажется мне, что журчит она, как маленький, робкий ручеёк, где-то подо мной, в земле. Неужели это сама земля поёт голосом нашей матери?

Я встряхиваюсь, чтобы отогнать свою дремоту и навсегда избавиться от назойливого напева, как видения, но песенка не исчезает. Она звучит всё громче и громче, уже не подо мной, а где-то рядом. Оглядываюсь на своих друзей и наконец-то вижу: поёт её Кравченко. Но поёт слишком жалобно, так что песня его похожа на тягучий стон. Потом в тихий, воркующий голос Кравченко, похожий на голос моей матери, вплетается, как другой сверкающий ручей, звонкий, стелющийся голосок ефрейтора. Ну, затаили собственную панихиду! И песня уже звенит уверенней, смелей, она теперь не жалуется, а зовёт. Ну, как же не поддержать своих друзей! И к песне тотчас присоединяются другие голоса, как отстающие солдаты к походной головной колонне. Тоскующий напев одного солдата, похожий на робкую струйку, пробился теперь говорливым ручьём в три голоса, когда же песню подхватили все, разлилась она по камышам просторной, полноводной рекой. И вспомнился мне батюшка Дон, когда он разливался весной, как море, и когда я пересекал в лодке тихую солнечную гладь, а подо мной в глубине белели облака и далеко впереди отражались у берега белые хаты с высокой ослепительно сахарной церковью без купола... Я вдыхаю просторный воздух, и грудь моя наполняется радостью...

Песня всегда проверяет наши сердца в тяжёлую минуту. Она согревает нас отражённым светом радостных воспоминаний. Гляжу на своих товарищей и вижу, что все они заняты сейчас не столько песней, сколько пробуженными ею воспоминаниями. Ефрейтор

Санник, обхватив руками колени, медленно раскачивается в такт напеву, будто баюкает свою песню. Но Кравченко, родивший эту песню, а вместе с ней и наши воспоминания, уже молчит и глубоко затягивается табачным дымом под плащ-палаткой. А лейтенант наш, должно быть, плачет, потому что ему трудней всех, он ведь моложе нас, и ему приходится думать за всех. Я, правда, не вижу отсюда его слёз, но ведь не зря же он вытирает щёки ладонью и шумно сморкается в полу своей шинели.

Эта песня действительно похожа на коллективный плач. Вот почему за неё хватаются все горемыки-пьяницы. Если наши чувства сейчас вышли наружу в этом печальном напеве, значит, мы правильно поняли друг друга и договорились между собой не сдаваться. Но почему же только Миронов не поддерживал нашей песни? Он упорно молчал и затравленным волком озирался по сторонам. Ему, наверное, уже не под силу было выдержать её тяжести. Иначе не поднялся бы он с насиженного места и не пошёл, прихрамывая, в ту сторону, откуда ветер доносил до нас кизячный дым занятой немцами станицы.

— Куда ты? — окликнул его Санник.

Миронов не ответил.

— Куда?! — закричал Кравченко.

Но тот, не оборачиваясь, махнул рукой: а ну вас!

— Миронов! — позвал его лейтенант!

— Сейчас я вернусь, — ответил тот, не оглядываясь, и тут же поспешно скрылся в камышах.

Все притихли. Мы слышали учащённое чавканье его ног: неужели убегает? Ефрейтор вскочил и побежал за ним следом.

«Видно, по нужде пошли ребята», — уговаривал я себя, не веря ещё в то страшное, что случилось потом, через пять минут. В камышах раздался выстрел. Вместе с его перекатным эхом кто-то тяжело застонал, и вот уже чьи-то шаги захлупали назад по жидкому болоту. Я приподнялся: что бы это значило?

Первым из камышей показался Миронов. Он вышел без шапки, хромая теперь на обе ноги — выше правого колена штаны у него были окровавлены. Я ужаснулся: чем же мы будем перевязывать его рану, когда все бинты у нас давно кончились. Вчера после боя нам пришлось одного раненного солдата бинтовать обмоткой другого, убитого.

Но когда из камышей вышел Санник, а в руке нёс вымазанный в грязи автомат Миронова, я подумал уже о другом, более ужасном. Ясно, что мой земляк хотел уйти к немцам и, поспешно убегая от Санника, бросил своё оружие в болото.

— Ну что с ним делать? — спросил ефрейтор.

Ему не ответили. В камышах была тревожная тишина. Песни уже не было, оборвалась она ещё до выстрела. И бойцы теперь, так растревоженные этой песней, особенно зло косились на Миронова.

Куда его? Доставить как дезертира в штаб — никто не согласится. Идти в такую даль, да ещё по такой погоде! Нам было до слёз обидно, что Миронов предал нас. Вот он стоит и плачет, но его слёзы никого не трогают. Им не верят. Возможно, досада наша улеглась бы, растаяла, и мы в конце концов простили бы Миронова, приняв его слёзы за раскаяние.

Но этого не случилось. И виноват в этом сам Иван Миронов. Он ещё сильнее нас обидел, когда спросил сквозь слёзы:

— Неужели вам жить не хочется?

— Очень даже, — ответил Санник.

— Товарищи! — ободрился тогда Миронов. — Мы ведь всё равно погибнем. От холода и голода. Пойдёмте со мной!

— Куда?

— К немцам?

— Туда, — показал он рукой в сторону станицы на пригорке, и вынес этим себе смертный приговор.

— Так что же нам с ним делать? — спокойно повторил ефрейтор Санник.

Все молчали. Тогда приподнялся на колено Кравченко.

– Давайте-ка, – вздохнул он тяжело, – споём ему «Шумел камыш».

Он сказал это спокойно и таким печальным голосом, что все мы вздрогнули. На меня нахлынуло всё то, что я пережил и передумал во время, когда пели эту песню...

Прогремела в камышах автоматная очередь, и Миронов, кланяясь нам головой до земли, упал в болотную грязь. Не знаю, кто в него стрелял, но чувствую, что если бы этого не случилось, пожалуй, и сам бы я разрядил автомат в своего бывшего друга.

Легко и просторно стало после того, как я вспомнил о смерти Миронова. До сих пор никогда ещё не вспоминал этот случай так обстоятельно, некогда всё было, не до Миронова. Теперь же, на родной земле, когда всё пережитое на войне вдруг нахлынуло с таким волнением и потребовало точного ответа, сама земля, вижу, помогает мне выйти

на верную дорогу. Я не должен скрывать от своих людей горькую правду. Миронова мы убили правильно. Да, он изменник. И я должен сказать об этом косарям, пусть они сами судят.

Я поднимаюсь от берега к покосу и вижу в кудрявой зелени клевера голубые звёздочки незабудок. Может, маляр тут прошёл и забрызгал весь берег краской? На листьях клевера сверкают звонкие капли росинок. Может, прошла тут какая-то девушка и рассыпала радужные бусы? Боже мой, до чего же так хорошо вокруг! Меня умиляет даже вон тот кизяк на дороге, что, судя по всему, обронила чья-то неосторожная корова из нашего стада. Подсохший, с разлапистыми краями, он удивительно похож на кленовый листок, и даже бабочка луговая обманулась – села на самый край и моргает мне с кизяка своими бархатными крыльями. Я радуюсь каждой былинке, потому что всё вокруг стало таким свежим и солнечным, словно промытым весенним проливным дождём.

с. Лушниковка, 1946

*Художественные портреты и фотографии
из семейного архива*

